

## ВВЕРХ ПО ФРОЛОВСКОМУ СПУСКУ

Деревянный трамвай с грохотом и визгом преодолевал последний крутой поворот. Дальше дорога шла гладко вниз, к Подолу. Я сидела на коленях у папы и радовалась, что ехать осталось недолго. Тошнота уже мешала мне смотреть в окно на зеленые горки, поросшие дымчатыми травами и кустарником, на коварные срезы обрывов, на желтые деревянные лестницы, карабкающиеся неизвестно зачем к голубому небу.

Мы бывали здесь редко, но я узнавала эти пустынные улочки, кособокие деревянные дома, лохматую старуху, сидящую под запертой дверью на гнилой табуретке и провожающую испуганным взглядом наш красный трамвай с его желтым нутром, с девчонкой, прижавшей лоб к грязному стеклу, с пьяным одноруким попрошайкой, раскачивающимся в тамбуре, с кондукторшей в мужском пиджаке, прижимающей к животу набитую мелочью сумку.

– Кому Фроловский спуск – выходите. Следующая – Троицкий спуск, кому надо базар.

Мы выходили под скрип растревоженных крестьянских корзин. Ждали, пока уедет трамвай, и тогда перед нашими глазами оказывалась разукрашенная, как игрушка, Фроловская церковь и улочка, вымощенная битым булыжником.

Здесь все улицы назывались спусками. Узкие пологие тротуары провожали нас вверх, незаметно и заботливо помогая набрать высоту двумя-тремя низкими ступеньками. Мы входили в деревянные ворота, и кишачая за этими глухими воротами жизнь неожиданно открывалась нам. Широкий двор, облепленный флигелями и сараями, с зияющей у самого входа дырой канализации, с хлопающей дверью уборной и непролазной паутиной веревок, на которых полоскалось убогое пестрое барахло: вышитые салфетки, военные обноски, растрепанные лифчики с оборванными пуговицами, линялые штаны... Мы пробирались, нагибаясь под веревками, брезгливо уворачиваясь от мокрых пощечин.

– В этих местах всегда жила беднота и босота, – пояснял папа.

"Беднота" справа от нас справляла свадьбу. Прямо на улице скулил патефон, старик в шляпе серьезно и не в лад стучал в бубен, а гости отплясывали, тараша глаза, задыхаясь и выбивая каблуками серую пыль. Две женщины, не издавая ни звука, тянули друг друга за волосы...

Слева на деревянном столе восседала "босота" – взрослые мальчишки в кепках. Они провожали нас враждебно-презрительными взглядами и короткими плевками. Один из них что-то пел, пощипывая струну на гитаре, остальные сально хохотали.

А мы уже поднимались на горку. Останавливались на площадках, похожих на балкончики с лавочками. И снова шли, ступенька за ступенькой, все вверх, вверх к голубому небу, пока внезапно не являлась нам ровная площадка, каменный домик с верандой, низенькие корявые акации и под ними фонтан – ржавая труба, обложенная по кругу кирпичной кладкой. На кладке сидел мужчина и мыл ноги в тазу.

– Соломоновна! – кричал он. – Встречай! До тебя гости! – и, опустив обе ноги в таз, с доброжелательным удивлением смотрел на шумную сцену, которая всегда следовала за этим.

– Мамочка! Кого я вижу!

Первая навстречу нам выбегала тетя Геня. Ее круглое лицо сияло, она восторженно всплескивала пухлыми ручками. За ней с протянутыми для приветствия руками являлся дядя Давид, а из-за сараев спешила Манечка. И все мы по очереди целовались, причем дядя Давид старался чмокнуть меня в губы, а целовался он громко, мокро и царапался щетиной. Мои родители хвалили Манечку (как она выросла, нивроку!), тетя Геня и дядя Давид – меня (мамочка, красавица моя, какое у тебя платичко!).

А чуть в стороне умиленно кивала нам соседка – тетя Аня, и дочь ее, Поля, улыбалась самой приветливой и достойной из своих улыбок.

Похоже было, что мы не виделись много лет, хотя только в среду тетя Геня заезжала к нам, а накануне приходил дядя Давид. Но "на горку" мы в самом деле приезжали редко, и весь этот шум казался мне естественным. Шутка ли – я считала тогда, что "конец света" находится прямо за птичьим рынком, а от Троицкого спуска до птичьего рынка оставалось всего две остановки...

Каждый раз дядя Давид обещал туда свозить нас с Манечкой, но после обеда лень одолевала его, и поездка откладывалась до следующего раза.

– Ой! Там так интересно! – с чуть злорадным жаром восхищалась Манечка.

– А что, прямо утки, гуси сами все продают? – пыталась я проникнуть воображением в заветный край.

– Даже еще лучше! – в углах Манечкиного пухлого ротика закипала слюна вдохновения.

– А может, сводим ее в собачий питомник? – предлагал беленький мальчик в тюбетейке.

– Нет, – пренебрежительно кривилась на меня Манечка, – ей туда нельзя.

Манечкины друзья разглядывали меня, как диковинную птицу, чудом залетевшую на север. Мне и в самом деле не разрешали спускаться с горки и даже заходить за сарай, но меня это не огорчало, ибо пятачок, на котором мне предоставлялась свобода, был неисчерпаемо полон чудес. Солнечная полянка за домом слепила россыпью желтых цветов. В холодном сумраке сарая копошились серые кролики. Там же в углу стояла торба с разноцветными лоскутами. Чего стоил один фонтан!

Я мечтала увидеть, как на вершине горы из ржавой трубки бьет прямо в небо струя воды, как, разбиваясь на капли, вода стучит по мелким прозрачным листьям. Прямо под окном тети Гени.

– Ну как, – с надеждой вопрошала я, – уже починили?

– Да, – сурово отвечала Манечка, – как раз вчера весь день работал. Надо было тебе вчера прийти! Вот скажи ей, Сережка!

– А что, и правда работал? – у беленького распахнулись глаза.

– Ты чего врешь? – вдруг перебила ее Поля, до того наблюдавшая за нами издалека.

– Но ты же сама мне сказала, – с робкой обидой возразила Манечка.

– Да, я сказала, но ведь ты-то сама не видела, – непроницаемая Полина улыбка допускала множество толкований...

– Фонтан работал! – снова завелась Манечка.

– А вот и нет!

– Работал, работал, дети, – невпопад вмешалась тетя Геня, – он сломался только недавно, во время войны.

Тетя Геня выглядывала из своего окошка, как птичка из гнездышка. Такое теплое, уютное гнездышко с кружевными занавесочками в кудрявых зарослях акации.

– Ласточка моя, подойди сюда, я тебя поцелую.

Я подходила к окну и подставляла лоб. Я очень любила тетю Геню. Любила ее тесную комнатку, где под низким потолком странно громоздились медная труба, сверкающий саксофон, черные обшарпанные футляры, скрывающие что-то неприкосновенное и прекрасное. Прикрытые ветхими кружевами, они вызвали во мне почти похоронное благоговение. А черная швейная машинка, стоящая под окном, казалась упорной старой лошадкой, которая из последних сил тащит на себе куда-то весь этот нескладный хлам. Натягивая ремень, надсадно скрипя колесом, она трогалась с места и начинала строчить равномерно и расстроено.

Это был ритм, в котором жила моя тетя Геня. Маленькая, толстенькая, она пролет за пролетом одолевала деревянные изломы лестницы, останавливалась на площадке, опускала набитую сумку, держалась за сердце, пытаясь справиться с одышкой и глядя в голубое небо безропотными выпуклыми глазами. Но от опущенных углов ее маленького слабого рта прорезались глубокие морщины решимости, которая помогала ей бороться с жизнью и одерживать над ней мелкие победы.

Тетя Геня кормила семью. Она считала себя очень хитрой и предприимчивой. На своей половине сарая она разводила кроликов и кур. Перья тетя Геня собирала на подушки, а из кроличьих шкурок шила детские шапки с торчащими ушами и тремя бомбонами. Нашим родственникам эти шапки казались смешными, но я была от них в восторге. И на толкучке их охотно раскупали крестьяне.

Еще больше мне нравились платица, которые тетя Геня шила из тонких обрезков крепдешина. Обрезки по дешевке продавала ей уборщица с галантерейной фабрики. У меня самой было такое платье. Оно состояло из одних оборочек и вдобавок по подолу и гестке было

обильно утыкано крепдешиновыми "розочками". Они так и назывались – "платья с розами", и "давали" за них по двадцать пять рублей.

Особым спросом пользовались крепдешиновые стеганые ватники. Городские дамы надевали их зимой под бостоновые синие пальто со съёмными лисицами. Стоили ватники дорого, но стачивать их из лоскутов было трудно и "невыгодно".

Тетя Геня постоянно собирала всякие обрезки и обноски. Из сношенного халата она шила платьице для Манечки, из платьица – наволочку на диванную подушку; когда снашивалась наволочка, вырезала из нее носовые платки, а затем пускала на кухонные тряпки или конопатила на зиму окна.

Тетя Геня вертелась с утра до ночи, и порой ее лицо вытягивала гримаса усталой обреченности. Но обычно она была деятельна и оживлена. Она сама была в восторге от своих платьиц, ватников, салфеточек, от того, что вылечила нарыв на ноге у дяди Давида.

– Я взяла три старые таблетки биомидина, растолкла, смешала их с вазелином – и все сошло! Как рукой сняло! Я теперь всех соседей так лечу!

Тетю Геню на горке боготворили даже самые отпетые "черносотенцы". Никто не умел так ловко ставить банки или компресс. Она выгоняла у детей глистов с помощью семечек и сладкого молока, вытаскивала занозы и застрявшие в горле рыбы кости.

– Тетя Геничка, вы у нас справжний доктор! Дэ вы всьому цьому научились?

– Жизнь научила, деточка! – польщенно, с печальным достоинством отвечала тетя Геня.

Наверно, в ней от природы была заложена какая-то врачебная хватка. Однажды Манечка долго и тяжело болела бронхитом. Ей прописали отвар из ягод калины. В тот год калина не уродила, но тетя Геня рассудила, что кора калины должна действовать еще сильнее, чем ягоды – и оказалась права. И вообще во всем ее облике и поведении было что-то такое, от чего больному становилось спокойнее и легче.

В жестоком скандальном мирке подольского двора тетя Геня витала ангелом доброты и миролюбия. Она гасила скандалы, мирила соседей, всех понимала и жалела. Под ее печальным укоризненным взглядом сникали подольские хулиганы, а торговки на Житнем рынке сбавляли цены на зелень и творог.

Тетя Геня любила базар. Она покупала всего понемножку, только для Манечки, и в ее руках горсть земляники, влажная горка творога, лучащееся розовым светом яичко казались сокровищами. Она и называла их нежно: не морковка, а обязательно морковочка, не горох, а горошек, капусташка, петрушечка... Себе и дяде Давиду она готовила из самых дешевых продуктов, но столько любви и выдумки вкладывала в свое стряпню, что считалась в родне одной из лучших кулинарок. Под праздники она отправлялась в мясной ряд и там долго и придирчиво разглядывала красные оскаленные головы. Из "хорошей" головы у нее получалось не менее четырех деликатесов. Впрочем, деликатесом у нее казалось и обычное картофельное пюре, заправленное укропом и толченым чесноком, А какая у нее бывала селедка!

– Ах, какая селедка! – восхищался кто-нибудь из гостей, утирая жирные губы. – Это по двадцать четыре или по двадцать шесть?

Лицо тети Гени, распаренное на кухне, еще ярче разгоралось от радости. Она не опускалась до лжи, ибо слишком гордилась своей "хитростью" и ее результатом.

– Нет. Это по восемь двадцать! Сначала я целый день вымачивала ее в молоке. Потом на день положила ее в уксус и добавляла...

– Генечка! Что ты давала в компот, что он такой ароматный?

– А-а-а! – тетя Геня лукаво и радостно грозила пальцем. – Я взяла немножко...

Потом она мыла на кухне посуду и рассказывала мне, Манечке и Польке о своих родителях, детдоме, воспитательнице, которая не выговаривала букву "л". ("Дубинская! Убери со стога вокоть и возьми вошку в правую руку!"), о том, как ушел на войну ее муж ("Дяде Давиду на долгие годы, он был золотой человек. Я оставила себе его фамилию. Пусть хоть какая-то память останется от него, раз ничего больше не осталось"), о том, как по дороге в Сибирь у тети Гени родился мальчик, о том, как ее назначили директором парикмахерской и какую чистоту ей удалось там навести, и какие там все были хорошие люди, и как тетя Геня заболела тифом и целую неделю лежала без сознания, и как она, придя в себя, узнала, что ребенок умер

("Я сказала: девочки, отведите меня на кладбище. Они одели меня и повели под две руки. Прихожу, они мне показывают могилку, а на ней маленький крест. Они его даже цветочками разрисовали. Я увидела это и заплакала. И говорю: что же вы, девочки, наделали? Зачем вы поставили крест? Моим родителям покойным так обидно это видеть! У нас не положено ставить крест. Они меня спрашивают: а как же у вас положено? Я говорю: у нас положено просто поставить табличку и написать: такой-то и такой-то. Родился в сорок первом году, умер в сорок втором. Через два дня прихожу – уже поставлена табличка и так красиво сделана, и разрисована масляной краской!"). Тетя Геня умиленно всплескивала руками.

– Ну все, дети! Идите в комнату.

Мне и на кухне было очень интересно. В углу, за плитой, стояла большая белая ванна, с которой, как и с фонтаном, я никак не могла разобраться: "работает" она или нет. А еще лучше был похожий на пенек деревянный чурбанчик, на котором рубили мясо. Манечка и Поля вечно спорили, кому на нем сидеть. Если Поля не было дома, Манечка могла бы сидеть сколько угодно, но ей почему-то не хотелось, а как только появлялась Поля и мельком бросала: "Не смей садиться на мое место!" – Манечка начинала спорить и канючить. Польша была безжалостна и непреклонна. Случалось, она сама и не думала садиться на пенек, а стояла молча и смотрела на Манечку, улыбаясь светлой змеиной улыбкой, и та не смела послушаться. Или неожиданно Польша теплела, усаживала ее на пенек, выносила на кухню ленту и бусы, наряжала обалдевшую от счастья Манечку ("Ты будешь принцесса!"), но вдруг в уголках ее рта скручивались ехидные спиральки.

– Жди меня здесь, никуда не уходи!

И бедная Манечка и час, и два скулила, растягивая восьмеркой обиженные губы, но с места не сходила.

Со мной Польша была очень ласкова. Однажды она подарила мне целую коробку "мозаики". (Это была прекрасная старинная смальта. Польша собрала ее где-то в развалинах церкви. Их тогда одну за другой сносили на Подоле). Дети со всего Фроловского спуска ходили смотреть на Полькины "разноцветные камушки", и никому не удалось выпросить у нее хоть один. Она жестоко высыпала их прямо в собачью будку, и там они лежали у всех на виду, неприкосновенные, ибо подойти к злому черному Цыгану не осмеливался никто, кроме Польки. Впрочем, и без Цыгана никто не вошел бы в Полькин палисадник.

А как мила была Польша с моими родителями! Как скромно входила в тетигенину комнату, вскидывала свои прозрачно-серые глаза. Было в ее облике что-то необычное, нездешнее. Тугие светло-русые косички, прямой, чуть небрежно срезанный носик, треугольный мысок верхней губы, кружевные воротнички... Она садилась на уголок кровати и, потупившись, отвечала на вопросы моей мамы. Нельзя было поверить, что она уже три раза убежала из дому, что за съеденную тарелку каши берет у тети Анюты рубль, а за ложку рыбьего жира – пятерку. Она благоговейно отпивала тетигенин компот, откусывала хрустящую корочку пончика и робко просила дядю Давида достать баян.

– Да-да! Давай, Давид, сыграй! – поддерживали гости.

Дядя Давид снимал со шкафа баян медленно, но охотно. Ситцевый баян с прокуренными кнопками, с пуговицами разноцветными, как на старом белье, был украшением любого торжества в нашей родне. Он слегка скрипел, слегка хрипел, а любимые мелодии дяди Давида, "На сопках Манчжурии", "Соловьи, соловьи", "Вернись в Сорренто", – в сопровождении неизменных приседающих аккордов (ум-па-па, ум-па-па) получались убогие и липкие, как сироп. Но без этого баяна не было ощущения праздника.

Взрослые говорили, что дядя Давид – самородок.

– Это же одаренность! – компетентно заявлял папа. – Он на любом инструменте может сыграть любую мелодию! Если бы его учили, это получился бы гений, второй Утесов!

Утесов не получился из дяди Давида по вине его матери. Он был в семье единственный сын, и мать не могла допустить, чтобы единственный сын Файвыша Сапожника пиликал на свадьбах: испокон веков все каменецкие Сапожники были портными. Впрочем, не меньший вред она нанесла Давиду тем, что в самом раннем возрасте стала ему давать перед едой рюмку спиртного – "для аппетита".

Давид научился шить, два года проработал в швейной мастерской, но неожиданно ушел оттуда. К началу войны он перепробовал несколько профессий и заслужил в городе репутацию лентяя. Что он делал с удовольствием – так это пиликал на свадьбах...

В сорок первом году его мобилизовали, и он со своим кларнетом дошел до Берлина и даже получил медаль. Их музыкальный взвод попал под обстрел, все разбежались, а дядя Давид замешкался. Ему жалко было оставлять телегу с ящиками, где, по его предположению, лежали музыкальные инструменты и ноты.

– Вы понимаете, – дядя Давид разводил руками, – взять, понимаете, и целую телегу добра бросить вот так, среди дороги...

Дядя Давид погнал лошадку и вскоре выбрался к своим. В ящиках оказались штабные документы.

Эту историю дядя Давид рассказывал нам часто, когда после двух-трех рюмок становился разговорчивым и веселым. Еще он рассказывал историю про фрейлахс.

– Сижу я как-то один. Что-то настроение было плохое. Вспомнил дом... Ну и так, даже сам не заметил – стал наигрывать. А товарищи услышали – это же музыканты – и им понравилось. "Сыграй, сыграй, Давид!" Ну, я уже сыграл как следует. Они зовут дирижера: "Так и так. Сапожник знает хорошую песню, мы хотим ее разучить". Дирижер тоже не против. "Пожалуйста! А как это называется?" Я подумал и говорю: "Соным оф цэлюхэс – врагам назло". И мы до конца войны играли фрэйлахс на каждом концерте. Так и объявляли: "Еврейская народная песня"... Только мое название никто не мог правильно выучить. Все говорили: "Соным гопцедулыс" или просто "гопцедулыс"...

К середине обеда дядя Давид грустнел, концы с концами у него переставали сходиться, на глаза наворачивались слезы, и он жалел, что отказал Натану Рахлину, который звал его в свой оркестр.

Каждый раз, когда меня водили в театр, я старалась заглянуть в мерцающий провал оркестровой ямы. Я искала глазами пустующее место дяди Давида. И его носатое длинное лицо, еще сильнее вытянутое вверх проволочными завитками волос, мерещилось мне где-то среди первых скрипок. Сосредоточенных, с солидно надутыми щеками над белым уголком платочка, над лоснящимся красным деревом... Черная бабочка, черный фрак...

Рахлин не Рахлин, а куда-то дядю Давида действительно приглашали. Но он уже был женат на тете Гене, а тете Гене музыкальная карьера представлялась исключительно на уровне пивной или ресторана, и она боялась, что такая работа еще больше разовьет склонность дяди Давида к выпивке. К тому же известно было, что портные хорошо живут. И дядя Давид снова, и на всю жизнь, стал портным.

Для того, чтобы "хорошо жить", дяде Давиду не хватало смелости. Он боялся "зарезать" ткань, и поэтому кроил с большим запасом, рассчитывая подогнать вещь на примерке. Но подогнать удавалось не всегда, и дядя Давид выплачивал заказчику стоимость ткани. Необъятные брюки с кокетливо загнутой штаниной, широкие основательные пиджаки и другие его изделия бесшумно украшали витрины подольских комиссионков. Случалось, что он прожигал утюгом готовые вещи.

Несмотря на все это, в нашей родне считалось обязательным шить мужскую одежду только у дяди Давида. Предполагалось, что хотя вообще-то он недотепа и лентяй, но для своих уж особо постарается. Папа, знавший дядю Давида раньше всех, говорил, что теперь он работает значительно лучше, что до войны он шил брюки, не учитывая особенностей мужского организма. На это дядя Фима обычно отвечал, что зато теперь в них поместились бы даже "особенности" слона. И все-таки они ездили в ателье на Подол, на самый конец света. И дядя Давид, в полосатой рубашке и жилете, с сантиметром на шее, торжественно вершил примерки и вручал готовые вещи. Сам он всегда был доволен ими.

– Я делал так, – он внушительно поднимал палец и говорил тихо и доверительно, – с расчетом, чтобы можно было надеть теплое белье!

Родственники платили по счету и сверх того – "благодарность" лично дяде Давиду. Дядя Давид мог бы получать и всю сумму, если бы соглашался шить "частным образом", но он так иступленно боялся финотдела, что запирали дверь и занавешивал окно, когда чинил

собственные брюки. Да и "благодарность" решался брать только у родных. Удивленные таким бескорыстием, клиенты водили его через дорогу в кафе "Ветерок", и дядя Давид частенько возвращался домой навеселе, А то и сам покупал себе четвертушку. Он поднимался по деревянной лестнице, пролет за пролетом, и, нащупывая в черной бездне кармана прохладный стеклянный бочок, улыбался тайной, плотоядной улыбкой. Эти четвертушки съедали значительную часть его скромной зарплаты.

Тетя Геня видела корень зла в дурном примере. Борис Литовский, Польшин пала, пил водку стаканами, как минеральную воду, и раз в неделю с ним пил дядя Давид.

По воскресеньям Борис Литовский торжественно завтракал. С шести утра тетя Анюта выбивала на кухне битки, начинала цыплят, жарила бабку из мацы, тонко резала осетрину, вспарывала консервные банки. От жары и спешки лицо ее полыхало. Полыхали оранжевые цветы на черном крепдешинном платье, тяжелое ожерелье из темного янтаря в глубоком вырезе на пышной груди будто плавилось от жара, жарко смотрели черные глаза, и черные волосы, разделенные прямым пробором и жестко прижатые зажимами с обеих сторон широкого низкого лба, как дым, вились по плечам. Опасливо поглядывая на свою дверь, она быстро совала тете Гене тарелку, покрытую другой тарелкой, и шептала воровато и умильно:

– Пусть Манечка покушает!

В двенадцать она накрывала круглый дубовый стол и посылала Польшку за дядей Давидом. Дядя Давид давно уже был готов и сидел, как на иголках, но для приличия делал вид, что собирается. Причесывался, поправлял майку, высоко подтягивал полосатые штаны, наконец набрасывал на плечи ремни баяна и отправлялся к соседям, шаркая по длинному коридору зелеными шлепанцами. Борис Литовский любил завтракать под баян.

Бориса Литовского на Подоле знали все. Он был лучшим мясником на Житнем рынке. А Житний рынок был лучшим рынком в городе. Так говорила тетя Геня. Когда разговор у взрослых заходил о Польшкином отце, само слово "Борис" вдруг наливалось угрюмой распирающей тяжестью. Тяжестью его литой лысины, чугунных плеч, бешено вздернутого тупого носа с черной кисточкой усов, невыносимого взгляда голубых неподвижных глаз.

Борис Литовский никогда и ни с кем из соседей не разговаривал. Он ходил из дому на работу пешком и на всем пути от Фроловского спуска до базара ни с кем из встречаемых не здоровался. Даже со старым греком Колей, который сорок лет стучал молотком по дырявым подметкам в тесной зеленой будке на углу Фроловского спуска и Андреевского вала. Отсюда Борис либо шел прямо вдоль трамвайной линии и фанерных рундучков, отгораживающих базар от центральной улицы, либо сворачивал в узкий проход между глухим забором базара и белыми стенами монастырских зданий, где днем и ночью тускло и недобро светились подвальные окошки, пугавшие и неодолимо притягивающие мой взгляд.

Но как красиво и уютно выглядел издали Троицкий монастырь! Каким спокойным и ласковым движением два зеленых холма заходили навстречу друг другу! Один выносил в небо тонкую башенку колокольни, на фоне другого белел приземистый собор с широким круглым куполом, между ними по дымчатым склонам пестрели небольшие постройки с зелеными крышами и золотыми крестиками, щурящимися на жарком солнце, а внизу – базар вертелся и играл своими праздничными кричащими красками.

Неистовое, гордое изобилие базара! Тугой круговорот толпы! Белые шары яблок, отрадный запах свежего творога, загорелые морщинистые руки крестьянок, неприкаянный старичок с корявыми низками сухих грибов, увядшая раньше времени женщина в пиджаке, с разукрашенными фотографиями и бумажными цветами, полыхание гладиолусов и георгинов, таинственные пучки и корни, библейские старухи, горестно дующие на куриные зады, гирлянды лука, коричневые пыльные цыганки, болтающиеся головки заснувших на руках детей, гипсовые слоны и коты, пьяный в луже у входа в туалет, шелуха от семечек под ногами, красные туши, застывшие в отчаянных бросках, и окровавленный широкий фартук Польшкиного отца, и кусок мяса, шлепающийся на его тупую ладонь...

Когда тетя Геня говорила, что у ее соседей денег куры не клюют, я представляла себе, как в сыром сумраке сарая тетя Анюта сыплет курам мелочь, а они обходят ее, брезгливо переступая ногами. Не понимала только, зачем нужно кур кормить деньгами.

Впрочем, в этой семье многое было странно. И даже страшно. Временами казались опасными широко расставленные, ускользающие Полькины глава. То вдруг пугал быстрый взблеск золотого зуба во рту у тети Ани или ее шумное радушие.

Мы заходили к тете Анюте, чтобы "размяться" и посмотреть телевизор, пока тетя Геня накрывала на стол. После тетигениной каморки две комнаты Литовских казались огромными и пустыми. Перед телевизором, спиной к гостям, сидел в кресле неподвижный и безмолвный, как памятник, хозяин.

Обычно я оставалась в проходной комнате-спальне. Рассматривала высокую кружевную постель, зеркальный шкаф, обрыв за узким окном и маленькие домики далеко внизу. А главное – фотографии. Стены спальни были сплошь увешаны фотографиями, маленькими и большими. Прямо над дверью висел в золоченой раме зажелтевший с углов линиястый портрет Полькиного отца. Он был снят в высокой папахе. Даже на портрет его невозможно было смотреть прямо. Я думала: это он еще молодой. Когда не был еще мясником, а работал в кузнице. Недаром все парни в городе боялись его. Такому ничего не стоит бросить в костер живого человека. (Тетя Геня рассказывала, что тетя Анюта не любила Бориса, но он грозился "кострировать" каждого, кто посмеет ухаживать за ней. И красавица тетя Анюта, чтобы не остаться старой девой, в конце концов вышла за него замуж). Ну что ж, во всяком случае, на фотографиях вид у нее очень веселый и довольный.

Больше всего было Полькиных портретов. Особенно нравился мне один из них: Польшка-маленькая подпирает пальчиком щеку; длинные кудряшки, льняная челка, кружевная паутина воротника и бант, как гигантская бабочка. Она пожимает плечами чуть удивленно, но никак не растерянно. Я думала: это, должно быть, ее сфотографировали сразу, как только взяли из детдома. (Я уже знала, что Польшку взяли из детдома). Искупали в большой ванне, нарядили в трофейное платье, подстригли, расчесали нежную челку и... побежали фотографировать.

Польшка явно любила фотографироваться. Она беззастенчиво кокетничала с фотоаппаратом, но никогда не выглядела смешной. Даже на том снимке, где стояла рядом с тетей Анютой – обе в одинаковых пальто с широкими каракулевыми воротниками, в лихих папах набекрень и с руками, упрятанными в муфты. Этакая разбитная лилипутка с косичками. Смотрит исподлобья и ногу в узком женском ботинке развязно выставила вперед... Я думала: неужели ей не стыдно ходить по улице в такой шапке?

Тетя Геня рассказывала, что тетя Анюта, когда шьет себе какую-нибудь новую одежду, обязательно такую же шьет и для Польшки. "Где это видано, – говорила тетя Геня, – надеть на ребенка габардиновое пальто с каракулем!" В остальном тетя Анюта вела образ жизни сравнительно скромный и богатства своего не выставляла. День рождения Бориса она для экономии справляла 7 ноября, свой – 1 мая, а Польшкин назначила на 8 марта. Она в течение пяти лет не решалась выбраться в Трускавец подлечить свою печень, пока врачи не объявили, что поездка на воды – "вопрос жизни и смерти". Тогда Анюта стала собираться, Она дождалась дня, когда прибыла газета с таблицей выигрышей "Золотого займа", открыла окна, несмотря на прохладную погоду, и стала громко кричать: "Выиграла!!! Выиграла!!!" Через неделю Анюта уехала в Трускавец.

Но там, где дело касалось Польшки, деньги летели направо и налево. Польшка была здоровым ребенком, но каждый ее насморк, не говоря уж о кори или ветрянке, превращался в настоящее бедствие. Анюта вызывала "участковую врачиху" почти каждый день и, насильно набивая в ее сумку консервы и мясо, заискивающе тараторила дрожащими от страха губами:

– Возьмите! Ради бога! Ведь вам пришлось так высоко подниматься! Только спасите моего ребенка!

Она рыдала перед снисходительными "частными профессорами" и умоляла сделать все возможное, "вплоть до консилиума"...

Полька и училась в общем-то хорошо, но иногда по вечерам тетя Анюта быстро спускалась по лестнице, нагруженная двумя кошелками, из которых предательски лезли щучьи морды и хвосты, гусиные лапы и серебряные головки шампанского. Если от ворот Анюта поворачивала направо, значит, спешила она к преподавателю математики, если налево – к завучу. Делала это тетя Анюта не для того, чтобы Польке ставили оценки выше, чем она заслужила. Нет. Она просила, чтобы на Польку повлияли. Дело в том, что где-то с четвертого класса Полька стала все чаще убегать из дому. Скандалы начинались с мелочей: Полька не хотела есть первое или надевать теплые штаны, а кончались всегда одинаково: Полька кричала родителям, что не просила их забирать ее из детдома.

– Ведь я предупреждала! – говорила тетя Геня. – Не берите эту девочку! Лучше взять грудного ребенка, и еще из другого города, чтобы о нем никто ничего не знал. Нет. Они к ней сразу прикипели. Потому что она была красивая. Боже мой! Все дети красивые! Разве мало было еврейских сирот? Надо было взять еврейского ребенка, чтобы потом не было никаких претензий. Тут у них такое творилось недавно – передать нельзя!

Я ни разу не слышала, чтобы Полька кричала, ни разу не слышала голоса ее отца, но до ужаса ясно представляла себе, как Полька стоит в открытом окне над обрывом и белыми от злости губами повторяет: "Я не просила вас меня усыновлять! Я не просила вас делать из меня жидовку и давать жидовское имя! Я – не Поля, я – Надя, Надя!" "Кто-о, кто тебе это сказал?!" – истошно вопила тетя Анюта. "Кто?! Баба Галя, вот кто!" "Баба Галя?! – хрипло взревел Борис. – А больше она тебе ничего не сказала?!" "Бори-ис! Не надо, Борис!" – забилась тетя Анюта... "А она не сказала тебе, что мать твоя была падаль?! Что она тебя от немца прижила?! Что эта подольская шлюха за четырнадцать лет ни разу не интересовалась, где ты и что ты?!" "Бори-ис! Умоляю тебя, Борис!" "Ты не жидовка – ты овчарка немецкая!" Полька выпрыгнула в окно, и только через две недели милиция поймала ее в Одессе.

Я тайком прислушивалась к шепоту взрослых и леденела от безобразных подробностей этой истории. И все мне казались гадкими, и всех почему-то было жаль.

Я оторопела от удивления, когда после жаркого и картофельных пончиков все, как ни в чем не бывало, отправились на телевизор к Литовским. Манечка и меня потащила туда. Я ждала, что увижу в их доме следы развала и разрушений, но все было по-прежнему, холодно и чисто. По стенам – Полькины фотографии, в кресле – Борис... Я радовалась, что Польки нет дома: боялась увидеть их всех вместе после того, что произошло. Но Полька очень скоро вернулась. Она вошла в комнату – легкая, с розовым от свежего загара лицом и мокрыми волосами. Пахло от нее рекой и песком. Она повесила на дверную ручку мешочек с вещами, чмокнула на ходу Анюту и всех нас одарила лучезарно-приветливым "Здравствуйте!".

– Привет, Поля! – расцвел Миша, сын тетигениной сестры Розы. – Какой сегодня пляж?

– Вообще хорошо, но вода прохладная, – ответила она и направилась к креслу Бориса, села на подлокотник и обняла его за плечи. – У меня вся спина сгорела...

– К столу, к столу! – позвала тетя Геня.

По лицу ее можно было догадаться, что ждет нас сюрприз, и мы побежали к дверям. Но я успела заметить благодарное жадное движение волосатой лапы, накрывшей Полькину ручку.

Тетя Геня приготовила волшебные крошечные пончики с орехами, изюмом и вишневым вареньем. Мне попалась вишня с невынутой косточкой, и я чуть не подавилась ею...

Видно, в тот день судьба охотилась на меня. Нас выпустили на улицу, и мы с Манечкой стали учиться ездить на велосипеде. Мне удавалось раза два судорожно толкнуть педали, – и велосипед, виляя, валился набок. Потом Света, внучка бабы Тони, предложила ребятам сходить на полянку за желтыми собачками.

– А ты подожди нас тут, – велела Манечка.

– А чего она должна тут одна оставаться? – вступился за меня беленький Сережа.

– Она не умеет по горкам лазить.

– Чего ты всегда над ней надсмеаешься?! Нечего тут уметь. Пошли с нами!

И я пошла.

– Смотри, – сказал Сережа. – Поставь ногу на эту ступенечку, а рукой возмись вот за эту палку и переступи сюда. Вот так.



Конечно, я была неловкой девочкой и к тому же очень боялась, что мама узнает о нашем путешествии. Но разве из-за этого земляная ступенька осыпалась под моей ногой, а палка вырвалась с корнем?

Я не успела понять, что сорвалась в обрыв, – просто ударилась грудью и коленями, быстро соскользнула по желтому крутому откосу, ощутила пустоту под ногами, задыхнулась от этой пустоты и сразу же почувствовала тупой грубый удар в бок и обжигающее прикосновение колючих трав. Я пыталась ухватиться за них руками, но сила, катившая меня вниз, была непреодолима, и это было самое страшное – не боль, а жестокая неотвратимость, с которой меня швыряло с уступа на уступ; и летела я очень долго, потому что успевала почувствовать запахи трав, глины, пыли, и успевала повторять слова, одни и те же, много раз: "Господи! Если ты есть, сделай так, чтобы это быстрее кончилось!" Я хотела, я ждала конца. И когда вдруг зацепилась в колючем кустарнике, почти с облегчением ощущала, как под моей тяжестью рвется одежда. Но последний удар оказался самым слабым... Я лежала на земле.

Это был незнакомый широкий двор с низенькими, как в селе, домами и неподвижной прозрачной тишиной, какая бывает только в сумерки... И мое падение не нарушило ее: три старухи, сидящие на бревне, даже не обернулись. Я решила заплакать. Мой тихий притворный вой сорвал их с места.

– Дытына! Дытына розбылася! Рятуйтэ! – верещали они. Но их крики не нарушали тишину, не пачкали ее, а существовали отдельно, сами по себе.

– Доченька! Солнышко! Что с тобой? – услышала я знакомые голоса. (Но и они тишину не всколыхнули).

Я посмотрела наверх. Там, далеко, на фоне серого неба, мельтешили фигурки. Тетя Геня, тетя Аня и еще какие-то женщины оттащивали от обрыва маму, а слева по пологому склону спускался дядя Давид в своей пижаме, за ним папа и Эдик, племянник тети Аняты.

– Мама! Со мной ничего! Все в порядке! – закричала я и быстро вскочила на ноги. В первую минуту боль не показалась мне сильной.

\*\*\*\*\*

Больше я ни разу не поднималась на горку. Я долго лежала, потом долго ходила на костылях, и мне не осилить было четыре пролета деревянной лестницы. С тех пор только вести с горки доходили до меня. Грустные вести.

Приходила тетя Геня, целовала, жалела меня, рассказывала, что Манечка без конца болеет, что у нее признали холецистит и ревмокардит, что у нее болят суставы, опухают железки, и она не встает уже месяц с постели и плачет целыми днями. Губы у тети Гени начинали прыгать и растягиваться точь-в-точь, как у Манечки, а я боялась рассмеяться, хотя не было ничего смешного в том, что Манечка с забинтованными коленями и ушами раскачивается на своей скрипучей кровати в больной духоте законопаченной на зиму каморки.

– Но четверть она кончила на круглые пятерки, – приободрялась и выпрямлялась тетя Геня. – Вот посмотри ее табель.

И тетя Геня начинала показывать табель, аккуратные тетрадки, исписанные каллиграфическим почерком и усыпанные красными вензелями пятерок, и еще какую-то благодарность... А мама начинала не столько хвалить Манечку, сколько ругать и журить меня, – так, будто у меня в табеле не две четверки, а сплошные двойки. И тетя Геня поддерживала ее.

– Ты же можешь! Ты же такая умница! Чем ты хуже Манечки? А ведь Манечка еще и на баяне занимается. Мама моя, какой у нее слух! Лучше бы у нее было такое здоровье! – губы у тети Гени снова начинали дергаться. – Что я только не вкладываю в нее! Апельсины, цыплята, мед – ничего не помогает, Это одна кожечка и кости. А чего они мне стоят, эти апельсины... Спасибо, хоть Роза может мне немножко помочь.

– А что слышно у Литовских? – спрашивала мама.

– Что там может быть слышно? Сейчас как будто ничего. Но это же такой бугай. У него же жуткие мозоли. А малая узнала, что где-то их снимают, договорилась и повела его. Ему все сделали как надо, он был на седьмом небе. Пришли домой – он дает ей двести рублей. На пальто. Это благодарность такая! Так что же ты хочешь от этого воспитания?

Полька не очень интересовала маму, и спросила мама о ней, конечно, для того, чтобы тетя Геня не пожаловалась на дядю Давида.

Что-то стало омрачать тихий свет, который изливался от тети Гени. Может быть, она чувствовала себя виноватой, что я разбилась именно у нее в гостях, на горке. Наверное, поэтому она стала непрерывно жаловаться на свою жизнь. Ведь и раньше было ничем не лучше. И пил дядя Давид не больше, чем прежде, но как-то получалось, что из-за его лени и водки болеет Манечка, а у тети Гени удалили кисту, зуб, грыжу...

Я уже знала, что тетя Геня не сестра маме, и Манечка мне не сестричка. По-настоящему и дядя Давид-то не был нам родственником. Он был женат на Эне, старшей маминой сестре, которую убили во время войны. И не мама познакомила дядю Давида с тетей Геней, но почему-то мама как будто несла за него ответственность, а раз мама – значит, и я. И только по праздникам, когда пили все, а дядя Давид со своим щербатым баянчиком был самым желанным гостем в любом доме, чувство вины отпускало меня. Я успокаивалась, когда дядя Давид широко растягивал меха, и хриплые и жирные "Амурские волны" заливали комнату, а во взгляде тети Гени появлялась влажная гордость, а в Манечкином – тайное превосходство.

В то время, да и позднее, когда на семейных торжествах я могла уже довольно бойко сыграть "Танец маленьких лебедей" и "Неаполитанскую песенку", дядя Давид оставался для меня высшим музыкальным авторитетом. Меня не сместили еще его солидно выпяченные губы и прищуренный глаз, – наоборот, я ждала откровения, заветного секрета, когда он поднимал сверху коричневый от табака палец.

– Запомните, дети, главное в музыке – это читка нот!

Так случилось, что все дети в нашей родне чуть ли не одновременно поступили в музыкальные школы и студии. Мы приходили в гости со своими нотами, а кто и с инструментами. (Бедная тетя Муся тащила и Раечкину скрипку, и Петенькину виолончель). Мы пиликали по очереди, каждый на радость собственным родителям, и я уважала Манечку за то, что она отказывается играть перед гостями. Правда, из разговоров можно было понять, что у нее не все клеится. И учитель неважный, и инструмент не по душе...

– Вот если бы пианино, – говорила Манечка, – я бы...

– Что пианино? – огорчился дядя Давид. – Научись пока на баяне, а там видно будет. Может, со временем купим и пианино. У нее такой слух, – обращался он к гостям, – не успеет услышать мелодию, – и уже поет! Прямо, как говорится, вундеркинд!

Пела Манечка не лучше других: голосок у нее был шершавый и дребезжащий. Зато на правах вундеркинда она делала всем замечания и тихонько подсмеивалась над каждым: фальшивишь, фальшивишь, дорогой! Я не слышала фальши и, чтобы не раздражаться и не спорить с Манечкой, старалась ее отвлечь. Мы усаживались где-нибудь в углу и подолгу говорили. Я рассказывала о своих больничных приключениях, о новых друзьях, о музыкальной школе и не могла себя остановить, хотя видела, что Манечке не очень интересно слушать. А Манечка рассказывала о Польке: любой разговор она переводила на эту тему. Если я, например, восхищалась тем, что Таня Каверина написала замечательное сочинение, она перебивала меня и говорила, что Полька пишет сочинения еще лучше. Что у них в школе появился новый учитель литературы – вылитый Евгений Онегин! Некоторые старшеклассники бывают у него дома, а Полька там вообще пропадает, даже ходит на кухню, чайник ставить.

Мне представлялась небольшая, до потолка заставленная книгами комната. Печальный и озябший от одиночества "Евгений Онегин", в очках и накинутом пиджаке. Высокое окно... Горы, укрытые и оглаженные снегом, голые деревья, с усилием бредущие по склонам вверх, вверх к слепящему свету... Коричневый полумрак по углам комнаты. И на подлокотнике кожаного кресла – укрошенная Полька...

– Она влюблена в него?

– Да нет, что ты! – отвечала Манечка, и лицо ее вдруг порозовело под невыносимым бременем тайны. Причастность к недоступным сферам делала ее высокомерной. – Она влюблена в Лобановского и переписывается с ним!

– В какого Лобановского?

– Да-да, в того самого, из "Динамо"-Киев!

– А не врет?

– Я сама видела, как она отправила ему письмо, – оскорбилась Манечка.

Я подумала, что могу написать письмо кому вздумается, но разубеждать Манечку не стала.

– Ты не знаешь Полю, – продолжала она. – Это уже не та Поля, которая удирала из дому!

\*\*\*\*\*

Бедная пронцательная Манечка! Вскоре после нашего разговора Польша не только удрала из дому, но еще и обокрала своих родителей. Милиции не удалось ее обнаружить. Борис Литовский ходил из инстанции в инстанцию, стучал кулаком и обещал озолотить того, кто вернет ему дочь.

Но Польша вернулась сама. Без гроша в кармане и беременная. Она сообщила, что вышла замуж, но мужа не привезла с собой, так как боялась, что отец "убьет" его. Литовские не мечтали выдать Польшу за "простого парня без специальности", но делать было нечего, и они отправили в Одессу длинную униженную телеграмму.

В порядке исключения брак зарегистрировали в течение недели, и Польша стала Лобановской. В белом платье из капрона и тонких кружев Польша выглядела, как принцесса, а через пять месяцев она родила дочь. Рожала она, разумеется, в лучшей больнице города. Тетя Аня всю ночь выла под окнами родильного отделения, а наутро засыпала подарками всех сотрудников, от заведующей отделением до нянечки, сидящей на пропускнике.

Польшу привезли домой на черном ЗИСе, дядя Давид играл марш из "Аиды". Во дворе стояла импортная коляска, доверху насыпанная конфетами и печеньем. В коляску посадили кошку и стали ее качать, а когда кошка выпрыгнула, дети со всего двора стали пригоршнями разбирать сладости.

Польша была растрогана до слез. Но когда тетя Аня робко попросила назвать девочку Марией, в честь покойного Марика, Польша беззлобно ответила:

– Это ваш обычай, у нас такого обычая нет.

– Он же твой брат, Поля! – взмолилась тетя Аня, на что Польша ответила:

– Ну какой же он мне брат?!

Так что даже муж ее смутился.

Вообще, если не принимать во внимание то, что Петя Лобановский ни на какой работе не мог продержаться больше месяца, он был неплохой парень. В доме тестя Петя чувствовал себя не совсем уютно и ходил отводить душу к тете Гене.

– Вот скажите, тетя Геня, разве это правильно: он любит жаркое с картошкой, а я – с лапшой. Так у нас всегда варят жаркое с картошкой! Один раз только сварили с лапшой – так он разошелся!

– Он старый, тяжелый человек, – утешала тетя Геня. – Но, даст бог, вы скоро будете жить отдельно. Я вас очень понимаю... Потерпите!

Может, тетя Геня и не осуждала бы Польшу и ее мужа, когда они удрали из дому, если бы они не бросили ребенка и не "обобрали Литовских до нитки".

На этот раз Борис не обратился в милицию: боялся, что Польшу могут "посадить".

Польша явилась почти через год. Одна. На расспросы о муже безразлично отмахнулась:

– Он же дурак! Я с ним развелась!

– Но ведь, какой бы он ни был, он – отец твоего ребенка!

– Ребенок обойдется без такого отца. Ему дали пять лет за хулиганство.

В тот день Бориса Литовского хватил первый удар.

К весне он стал выходить из дому. Страшно было смотреть на это громадное тело, утратившее равновесие. Он очень боялся упасть, и здоровая рука его, вцепившаяся в плечо тети Анюты, билась и дрожала, не находя опоры.

Тетя Анюта делала все, чтобы "поставить его на ноги". А время шло, и уже нахальные подольские мясники, сотрудники Бориса, которые раньше боялись поднять на него глаза, а перед тетей Анютой заискивали, стали отвечать ей все рассеянее, все дольше заставляли себя ждать. Анюта решила даже больше не обращаться к ним, но обратиться все-таки пришлось. Осенью Литовский скончался от второго удара. И тогда они появились в его доме, осмелевшие и деятельные. Кто-то договаривался с музыкантами, кто-то хлопотал о специальном гробе, ибо не так-то просто было найти гроб необходимой длины... Мясники распорядились и оттесняли родственников, но и им было суждено потесниться. Потому что на похороны пришли другие, никому не знакомые люди. И понятно было, что сами они давно не виделись. Они молча крепко пожимали друг другу руки, а потом шли перед гробом, опустив головы, и несли красные подушечки, на которых лежали потускневшие от времени награды. И награды эти, когда-то, как кольчуга, покрывавшие оба борта старого выходного пиджака, вдруг снова обрели свое истинное значение и смысл.

Было тепло. Последние желтые листья тяжело опускались на землю в медном звоне колоколов Троицкого монастыря... Звон плыл над холмами, перекрывая и смешивая нестройные звуки оркестра, растерянно тянущего на ходу похоронный марш, и только придурковатый ударник с навсегда заученной похоронной миной невозмутимо громко отмерял свои "бум, бум, бум..."

И соседи вышли из всех дворов. Стояли вдоль дороги и провожали удивленными взглядами длинную процессию, – без враждебности и тайных усмешек, будто те, что шли впереди, зачеркнули шестнадцать лет, зачеркнули грязный фартук Бориса, его мелкие мошенничества и шальные деньги.

Женщины всхлипывали, глядя на растрепанную, безумную Анюту. Кого она оплакивала? Мужа, за которого выходила без любви? Кормильца? Или в тот день она хоронила сына, погибшего девятнадцать лет назад? Борис велел высечь его имя на памятнике рядом со своим. А в гроб свой велел положить трикотинный плащ с ржавым пятнышком крови, найденный в сарае, где баба Тоня спрятала за дровами раненого мальчика.

– Такой був хароший, такой красивый хлопчик! Зовсим на яврэя нэ похожий, – причитала у ворот совсем выжившая из ума баба Тоня и цепляла соседей усохшими птичьими руками. – Цэ часом нэ ты выдав його нимцям?

– Анюта, родная, – срывающимся губами шептала тетя Геня, – возьми себя в руки. Так устроена жизнь...

Но Анюта не слышала никого. Она то старалась вырваться, то повисала на руках у тети Гени и Польки. А как нестерпимо прекрасна была Полька в развевающемся черном платке! Как бледно было ее лицо! Как нежно склонялась она к Анюте! Как сухие, невидящие глаза ее устремлялись вдаль!

И однополчане Бориса, прощаясь с его телом, говорили вначале о том, какой он был отчаянный и бесстрашный, а потом говорили, что прожил он жизнь не даром, раз вырастил такую дочь, и что дочь эта будет утешением и опорой Анюте.

\*\*\*\*\*

Очень скоро Полька снова ошарашила родню. Она вышла замуж "за хорошего мальчика из интеллигентной еврейской семьи", родила сына и дала ему имя Борис. – Я всегда знала, что в конце концов у Польки все будет хорошо, – говорила мне Манечка. – Она, конечно, штучка, и я от нее натерпелась больше, чем кто-нибудь, но все равно люблю ее. Вот, как в детстве, – смешливая слюнка вырвалась из углов пухлого рта. – Я сижу на ступеньках, а она меня палкой по голове дубасит, а я сча-а-стлива! Знаешь, с ней всегда было интересно. Ты и представить

себе не можешь, какие она выдумывала игры! А эта лестница, – чем она у нас только ни была! Вот ты не поверишь, а я скучаю по горке!

Еще бы не поверить!

– А почему ты никогда не едешь туда?

– Чего я туда поеду? – удивилась Манечка. – Они к нам ездят? Даже на новоселье не явились. И добираться туда далеко...

Тетя Геня получила квартиру в новом микрорайоне, который впоследствии стал считаться чуть ли не центром города. Но тогда казалось, что это очень далеко, и каждый выезд "в город" был для Манечки целым событием. Манечка не любила новую квартиру, не любила свой район. Как-то так получилось, что из-за перемены места она и учиться стала хуже, и музыку оставила.

– А какой из меня мог получиться музыкант! – с горестным восторгом говорила она. – Если бы мои родители вместо того, чтобы пичкать меня апельсинами, заставили бы меня силой заниматься, как твои! Ведь ты же не хотела играть! Помнишь, как ты прятала ноты?

Давно уже прошло время, когда родители заставляли меня заниматься. Но и тогда я хотела играть, только не Ганона и не Черни. И ноты у меня пропали лишь однажды, да и то я не прятала их, они случайно свалились за пианино... Но у Манечки выработался какой-то нерушимый образ, и она упорно не замечала, как теперь мои родители жалуются, что я занимаюсь слишком много и слишком серьезно. Ведь пределом их мечтаний был "Киевский вальс", с шиком исполненный где-нибудь на именинах. Они неосознанно, но верно угадывали в музыке силу, отделяющую меня от реальности, толкающую на путь непонятных им радостей и огорчений. Им казалось, что я становлюсь высокомерной, и, может быть, в этом тоже была своя правда: я с жалостью и недоумением смотрела на каждого, кто не занимался музыкой, или живописью, или еще чем-нибудь, целиком поглощающим все силы. Такая жизнь представлялась мне бессмысленной и пустой. Мне хотелось спасти такого человека, разбудить его.

– Но послушай, Манечка, – уговаривала я, – конечно, профессионалом ты уже вряд ли станешь, но научиться играть для себя можешь вполне.

– Как?! Может, по самоучителю?

– Да хоть бы и по самоучителю! И дядя Давид тебе поможет, и я. Ведь ты же неплохо начала!

– На нашем пианино, – безнадежно кривилась Манечка, – ничего не возможно сыграть!

Она совсем забыла, что это то самое пианино, с которым я закончила музыкальную школу, и вполне сносно сделала первый и второй экспромты Шуберта, ре-минорный концерт Баха...

– Ну, так будешь приходить ко мне! Ты не забывай: ведь я учусь на педагога, мне даже полезно с тобой позаниматься.

Иногда мне удавалось ненадолго воодушевить ее. Но без практических последствий. Я звала ее искренне, ждала, но оттого, что она не приезжала заниматься, испытывала позорное чувство, похожее на подавленное злорадование.

Мы встречались только по праздникам. Но любой праздник был испорчен для меня, если дядя Давид и тетя Геня приходили без Манечки.

Они стали чуть-чуть опаздывать с тех пор, как переселились на Полевой массив. Я спешила в коридор на каждый звонок, и когда за дверью оказывались они, все втроем – тетя Геня, дядя Давид и улыбающаяся Манечка – я бросалась к ней и помогала скорее стащить пальто, усыпанное каплями растаявшего снега, и целовала ее круглые и холодные, как яблоки, щеки.

Особенно ждала я Нового года: тут уж можно было проболтать всю ночь. За столом мы сидели рядом, а потом уединялись где-нибудь на кухне или в спальне, среди сваленных горой пальто. Мы безжалостно отшивали каждого, кто пытался присоединиться к нам. Таинственно и нелепо горели разноцветные лампочки на елке. Гости смотрели "Голубой огонек". Дядя Давид больше не был в центре внимания: в баяне протерлась дырка. Но дядя Давид не очень спешил отдать его в починку. Он тихонько "подбирал" на пианино, и никто его не слушал. А мы секретничали. Взахлеб, перебивая друг друга. Столько нужно было рассказать, узнать, и я не

понимала, отчего сухая тяжелая усталость тошнотой наваливается на меня. Я видела, как Манечкино лицо наливается сырой кофейной бледностью, и боялась, что сейчас у нее начнется приступ головной боли. Боялась сказать что-нибудь, что может показаться ей хвастовством.

У Манечки своих новостей как-то и не было. Были новости ее подруг: Тани, Гали и Алены. "Галка – самая умная девчонка из всех, кого я знаю!" – говорила Манечка, нажимая на слово "самая". "Второй такой красавицы, как Алена, я в жизни не видела!" – восхищалась она. Таня была примечательна тем, что ходила в походы и часто встречалась со своими друзьями-туристами.

– Люди живут активной, интересной жизнью, – горячилась Манечка. – Куда-то спешат, собираются вместе, веселятся, у них есть компании. Не то, что мы: сидим дома, как наши родители – особенно мои. Торчат безвылазно в этой своей квартире, копошатся, как муравьи... По-ку-у-шать, полежа-ать, заботать копейку, – Манечка передразнила еврейский местечковый жаргон, хотя ее родители говорили совсем не так.

– Ну, встряхнись! Кто же тебе не дает?! Живи, как находишь нужным!

– Кто не дает?! Воспитание не дает! Паршивая кровь паразита-папочки и мамочки, которая всю жизнь собирает в торбу тряпки и пашет на сестру ради подачки!

Все это была и правда, и неправда. Даже расстояние от Полевого массива до нашего дома Манечкины родители преодолевали с гораздо большей легкостью, чем она сама. Тетя Геня бывала у нас чуть ли не каждый день: через дорогу жила тетя Роза, ее родная сестра.

Муж тети Розы погиб на войне, и она не хотела "устраивать свою личную жизнь", пока не поставит на ноги Мишу. Дать Мише образование ей так и не удалось, но из него получился очень хороший слесарь. Миша удачно женился. Жена его была хоть и наполовину, но все-таки еврейка. Она прекрасно шила и брала заказы на дом. Сам Миша подрабатывал в трех местах, и жили они на широкую ногу.

Среди подольских старух, занимающихся сватовством, тетя Роза считалась женщиной интересной. Ей подбирали стариков богатых и самостоятельных. И тогда мы встречали тетю Розу на улице – нарядную, помолодевшую, под руку с отставным работником торговли: серая шляпа и широкий макинтош. На вопросительные взгляды тетя Роза взволнованно и скромно отвечала:

– Теперь это мой самый близкий человек на свете!

В скором времени лысина близкого человека загоралась в подвальчике образцового приемного пункта стеклотары, где тетя Роза зарабатывала себе пенсию. Во время войны она непредусмотрительно скинула в документах десять лет и из старшей сестры тети Гени превратилась в младшую. Интересно, что и выглядела она гораздо моложе. Я всегда гадала, глядя на нее: неужели из-за этой маленькой лжи в паспорте, закрепленной сиреневыми печатями, не седеют ее волосы, не морщится кожа, блестят глаза? Ведь жизнь у нее была совсем нелегкая.

Старики попадались более или менее удачные, но кончалось все примерно одинаково: один подсчитывал, сколько кусков мяса тетя Роза положила на тарелку сыну, другой был недоволен тем, что она взяла с собой на дачу внучку, третий не позволял подкинуть Мише сто рублей, которых не хватало для покупки немецкой люстры. И всем им казалось, что тетя Роза дает слишком щедрые подарки на день рождения Манечке и тете Гене.

– Я пока что не живу на его иждивении, – гордо говорила тетя Роза, – и могу давать кому хочу и сколько хочу!

Она выставляла очередного мужа, а потом сникала, болела, плакала целыми днями, и тетя Геня ездила ухаживать за ней. Иногда и Манечке приходилось навещать тетку, даже ночевать у нее с субботы на воскресенье.

– Ты можешь свое представить? – возмущалась Манечка. – Она не давала мне спать всю ночь! Сидела вот так на кровати и выла: "О-о-ой! Бедная я Розичка!" И мы должны все это выслушивать! Я тебе знаешь что скажу? Иногда вот так посмотрю на свою семейку и думаю, что если бы я сама не была еврейкой, я бы такая антисемитка была!

Она поперхнулась от смеха, закашлялась. Я вспомнила, как тетя Роза бледнела и менялась в лице при лающих звуках этого кашля.

– Ты к ним несправедлива, каждый из них...

– Послушай, – перебила она, – тебе хорошо судить о них со стороны. Лучше сыграй мне что-нибудь. Я так давно тебя не слышала!

Мне не хотелось играть: я очень не любила выражение ее лица, означающее, что игре моей не хватает "души". Когда она говорила: "Представляешь, как я сыграла бы это?!" – я с трудом удерживалась, чтобы не ответить: "Представляю, какие бы тут потекли сладкие слезы!"

Я не позволяла себе обижаться на Манечку. Она много болела, и болезни были все какие-то старческие, хронические. Тетя Геня лечила ее травками, капустными компрессами и плакала от бессильного отчаяния и обиды. Ко всем неприятностям Манечка стала часто ссориться с родителями. Начиналось с мелкой "критики", а доходило до того, что она обвиняла тетю Геню даже в своих болезнях. На робкие оправдания тети Гени Манечка отвечала, что без апельсинов и земляники, на грубой пище и черном хлебе выросла бы здоровее.

– Может быть, она и права, но что ж мне делать теперь? – убивалась тетя Геня.

Когда настало время Манечке получать паспорт, пошли скандалы из-за имени.

– Объясните мне, – шумела Манечка. – Со дня рождения меня называли Маней. Зачем же нужно было записать в метрике это идиотское имя, которое даже стыдно сказать вслух?!

После нескольких сцен со слезами и уговорами тетя Геня отправилась в загс.

– Мою дочь зовут Малка, – сказала она смешливой сотруднице загса. – Для меня нет на свете лучшего имени: так звали мою мать. Но дочка считает, что оно несовременное...

И Манечка по документам стала числиться Мариной.

Тетя Геня совершила даже что-то вроде попытки "устроить" ее в институт. Одолжила сто рублей и послала Манечку в Астрахань к троюродной тетке дядя Давида, которая преподавала в библиотечном институте. Но Манечка не прошла по конкурсу.

Соседка устроила ее к себе на завод, и тетя Геня рассказывала об этом, как о большой удаче.

– Представляете, иду я по лестнице, а навстречу мне идет Анна Андреевна и спрашивает: "Милая, что у вас случилось, что вы такая расстроенная?" Я ей отвечаю: так и так, дочка не поступила в институт, ее надо куда-то устраивать. Она мне говорит: "Я работаю на заводе Жуковского (это прямо против нашего дома!), давайте, я поговорю с начальством".

Манечка не собиралась долго задерживаться на заводе.

– Господи, если бы ты видела, куда я попала! Что за люди вокруг меня! Какая тупость! Эти разговоры, словечки! Сплошной мат! Ты бы послушала их анекдоты и как они смеется от этих анекдотов... Неужели мне целый год придется провести среди этих жлобов?!

Но в институт она больше не поступала. Манечка очень уставала на работе и, возвращаясь домой, сразу валялась на диван с книгой. В ее увлечении литературой появилось что-то похожее на наркоманию.

– Вот здесь жизнь, – улыбалась она, поглаживая тугие кожаные корешки, – а все остальное – ерунда и дрянь.

Свет в ее комнате был тусклый, бесприютный, и раскрытый томик Мериме мне самой показался выходом в иной, реальный мир, отдушиной, через которую можно перехватить свежий воздух...

Мое старое пианино в Манечкиной комнате выглядело нелепо. Черное пианино с такими знакомыми на вид и на ощупь изгибами, щербинками. Только детские глаза и пальцы способны так познать и полюбить вещь, что потом, расставшись с нею, всю жизнь чувствуешь себя изменником. Я готова была плакать, когда поднимала крышку и опускала пальцы на пожелтевшие костяные клавиши.

– Ну как, – спрашивала тетя Геня, – еще играет?

– Конечно! Даже строй держит.

– Мы его, когда купили, с тех пор больше не настраивали, – восхищался дядя Давид. – А говорят, что "Фибигер" плохо держит! Что ты сейчас играешь? – он с большой серьезностью перелистывал мои ноты.

– Это ансамбли, дядя Давид. Я с мальчиком одним играю, со скрипачом. Может, попробуем с вами? Тут есть очень несложные вещи, вы их знаете. Вот Глюк, "В царстве теней".

Я напела мелодию.

– Тара-тара-тараи, таа-рата-таа-та-таа... – подхватил растроганный дядя Давид. – Но я уже давно не занимаюсь на скрипке.

– Ничего, потихонечку...

– И у меня на скрипке нет струн. Ее надо сдать в починку. Вот я понесу чинить баян, и скрипку захвачу.

– Может, тогда на кларнете?

– Он далеко лежит.

Дяде Давиду лень было лезть за кларнетом, но любовь к музыке победила. Он достал его со шкафа, собрал, обтер и взял несколько нот.

Звук оказался неожиданно благородным. Дядя Давид оживился, надел очки и стал у меня за спиной. Он вступил в нужном месте и играл довольно верно, хотя и ясно было, что играет на слух. "Царство теней" в его исполнении приобретало щемящую еврейскую горечь, но я испытывала почти физическое наслаждение от матового кофейного звучания кларнета.

– Здорово! – воскликнула Манечка, когда мы кончили. – Я от вас такого не ожидала!

Тетя Геня радовалась, как ребенок, дядя Давид вытирал слезы.

– Сейчас мы еще "Элегию" Массне сыграем!

– Секундочку! – дядя Давид подошел к окну и закрыл его. – Я тебя попрошу, давай будем играть немножечко тише... Чтобы соседи не услышали.

– Да ведь еще рано!

Дядя Давид замялся.

– Я не хочу, чтобы соседи бог знает что подумали. Что я занимаюсь этим... Ты понимаешь?

Нет, я не понимала. Когда он запрещал нам рассказывать вполне безобидные анекдоты – понимала, а тут – никак.

"Элегия" получилась значительно слабее. Но я заметила, что обе вещи произвели на Манечку неожиданно сильное впечатление. Может быть, она приняла как мою заслугу мелодичность и грусть этих пьес? Единственное, что было ей доступно в музыке...

– Теперь я вижу, что ты далеко пойдешь! – горячо говорила она. – Я скажу тебе правду. Знаешь, я раньше думала, что ты такая же, как я. Мамочкина дочка. Трусливая, не приспособленная к жизни. И играешь, потому что тебя заставляют учиться музыке. Если бы ты знала, как я тебе завидую! По-хорошему, но завидую! Господи, – продолжала она, – ну не вышло из меня ничего, но могу я жить как хочу?! Почему надо всего бояться? Почему надо закрывать окно вместо того, чтобы открыть его вовсю? Вот, слушайте, восхищайтесь, как у нас чудесно играют! Вот за что я уважаю Польку! Пусть она стерва, но она всегда поступает, как хочет. Узнать бы, что там у нее слышно!

– Да что у нее может быть особого? Живет себе, детей растит.

– Не-ет. – Манечка снова смотрела на меня свысока. – Ты не знаешь Полю. Я не удивлюсь, если завтра услышу, что она снимается в кино, или на физмат поступила, или стала каким-нибудь ударником, героем труда.

Мы говорили еще долго. Стемнело. Тетя Геня просила меня остаться ночевать, но я собралась домой.

Я ехала в полупустом трамвае у открытого окна. Быстрый встречный ветер то будил, то укачивал меня. Я прижимала к груди папку – свою единственную защиту от вечерней прохлады. Мне было хорошо. Я думала о том, что мама, может быть, постелила мне постель, о Манечке, о канувшей в безвестность Польке.

\*\*\*\*\*

Манечка не пыталась что-нибудь узнать о Польке, но это получилось случайно при очень грустных обстоятельствах.



Я пришла к тете Гене в больницу. Горбатая старуха в раздевалке выдала мне куцый, без пуговиц, халат. Я поднималась по лестнице, закрывая лицо букетом горько пахнущих хризантем, но знакомый, приторно-навязчивый запах больницы пробирался сквозь цветы, охватывал и душил. Мне казался нестерпимо громким стук каблуков по кафелю коридора, во взглядах больных мерещилась насмешливая враждебность.

– Приве-е-ет... – Манечка бросилась мне навстречу. – Как хорошо, что ты пришла! А мамка как обрадуется!

Манечка говорила во весь голос: за четыре месяца она привыкла к больнице и чувствовала себя как дома. Она первой вошла в дверь палаты.

– Посмотри, кто к тебе пришел!

– Ма-амочка! – тетя Геня протянула ко мне руки. Волосы у нее отросли, но стали еще тоньше. Обломок гребешка криво висел над ухом...

Я поцеловала ее в мягкую опавшую щеку и присела на край смятой постели.

– Видишь, что со мной стало? – губы у тети Гени обиженно задрожали. – Это все из-за диабета! У меня рана никак не заживает!

Быстрые прозрачные слезы полились из ее круглых, как у птички, глаз, но лицо тут же просветлело, и она обратилась к соседкам по палате.

– Вот это, девочки, и есть моя племянничка-пианистка!

– Мы так сразу и поняли, – заулыбались соседки.

– А это, мамочка, ты узнаешь кто? – Женщина на соседней кровати улыбалась с особым значением, но я не могла ее вспомнить. – Это же Люба, бабы Тони дочка!

– Вот так встреча!

– Ты знаешь, бабы Тони уже нет, – погрустнела тетя Геня.

– Умерла в прошлом году, – уточнила Люба. – Она уже два года ничего не соображала и делала все под себя. Не приведи боже!

– Как тебе нравится Поля? – поспешила сообщить тетя Геня. – Она разошлась со вторым мужем и живет нерасписанная с инженером.

– У в одной комнате с его женой! Через занавеску... Бедна женщина! Анюта его до себя в квартиру не пускает. А его мать не пускает Польку и требует, чтоб он ее бросил. Ну да! Он бросит! Он перед ей на коленях ползает.

Я представила себе женщину, у которой в комнате, за занавеской, муж ползает перед Полькой на коленях, – как она сталкивается с безмятежным светлым Полькиным взглядом.

– А дети с кем же?

– Чии? Ленка? С кем же – с Анютой.

– А младшенький?

– Она же ничего не знает, – перебила Манечка, но Люба не дала ей договорить и с видимым удовольствием рассказала, как Полька двухмесячного ребенка оставила в квартире одного и пошла загорать на горку, а когда вернулась, ребенок уже посинел: он, видно, сильно кричал и подавился пустышкой...

Соседки по палате настаивали на том, что Полька нарочно "угробила" ребенка.

Они вообще были достаточно подробно проинформированы: выйдя из палаты, я услышала за дверью чей-то голос:

– Она не так уже и сильно хромает.

\*\*\*\*\*

Через два месяца тетю Геню выписали из больницы. Ее привезли на такси, с букетом. Двое соседских парней на руках подняли ее на пятый этаж. Дома ее ждали торжественная чистота, тетя Роза, соседка снизу, соседка сверху и торт на столе. Но праздник не получился. Переезд и смена обстановки так взволновали тетю Геню, что ей стало плохо. Гости, расстроенные, разошлись. Но кто бы мог подумать в тот день, что тетя Геня только через семь лет выйдет из

своей квартиры. Она стала бояться улицы. Трижды в течение семи лет ее пробовали вывести на прогулку, и трижды это кончалось приступом удушья. Она ходила по дому, потихоньку готовила еду. А главой семьи стала Манечка.

Манечка больше не собиралась уходить с завода. Она много зарабатывала и при случае не без удовольствия сообщала: "Я – слесарь пятого разряда". Она больше не говорила о своих сотрудниках – "жлобы". Некоторые из тех, кого она так когда-то называла, стали ее близкими друзьями.

– У нас в цеху, – рассказывала она, – всякие есть. Есть, конечно, и босячня. Но, знаешь, они меня боятся. Я с ними строго. "Это что за слова такие?! Здесь вам не малина!" А если кто-то так разойдется, что иначе уже нельзя, я так могу обложить, что он на пол сядет! А вообще, – грустнела Манечка, – я сама огрубела и опустила. Не спорь.

Это была правда. Возможно, мы имели в виду разные вещи. Меня корбила "практичность", которую с таким трудом, но успешно развивала в себе Манечка. Она научилась "договариваться" и "доставать". Она покупала конфеты для Лили, Лилия "устраивала" ей вазу для Жени, а Женя – для самой Манечки – импортные сапоги. Но все-таки в Манечкином практицизме было что-то трогательное, унаследованное от матери: каждое приобретение казалось ей чудом, восхищало ее.

– Иду я мимо мебельного, смотрю – выгружают какие-то ящики. Я остановилась, зашла в магазин и стою. И что же получилось: это привезли румынские буфеты, а я оказалась первой в очереди! (Тетя Геня в этом месте еще и руками бы всплеснула).

А каким гордым взглядом окидывала Манечка свой хрусталь, плед на диване, собрание сочинений Новикова-Прибоя на полке!

– Когда заходишь к нам в большую комнату, – солидно щурилась она, – можно подумать, что попал к каким-нибудь профессорам!

Зато маленькая комната со своими подушечками, узелками, с дядей Давидом, спящим на диване в пижамных штанах, напоминала их прежнюю каморку. Создать в этой комнате современный комфорт Манечке так и не удалось, и она оправдывалась перед гостями:

– Ничего не могу сделать! Они не дают выбрасывать старое барахло!

Начинала она добродушно, но постепенно расходилась. Чем сильнее у нее болела голова – тем больше. Она жаловалась, что из-за родителей никого не может привести к себе в дом.

– Ты посмотри, в каком виде они ходят по квартире! И хоть бы сидели уже в спальне! Нет! Обязательно выйдут и будут вмешиваться во все разговоры.

Или:

– Ты скажи мне, если человек вышел на пенсию, он должен целыми днями храпеть на диване?! Он не мог бы пошить хоть пару брюк в месяц?! Ну, о мамке я не говорю, она больная. Но он, здоровый бугай, ни разу в жизни даже гриппом не заболел. Если так вдуматься, они же меня объедают. И кто на мне женится? Кому охота взять на себя такую обузу?

Манечку уже несколько раз "знакомили". Соседи, тетя Роза через свои каналы... Женихов отпугивала Манечкина болезненная полнота, но и Манечке не нравился ни один из них. Тете Гене нравились все. Она угощала женихов своими необыкновенными компотами и расспрашивала о здоровье родителей, пока Манечка на кухне, закрывая рот полотенцем, давилась от хохота.

Она не спешила. Манечка считала себя выше своей среды и собиралась найти мужа в том светлом будущем, где она закончит вечерний техникум при заводе и займет место за столом в техотделе. Подтянутая, деловая, в строгом английском костюме, отрез на который уже лежал в шкафу.

Дядя Давид по секрету высказывал маме свои предположения. По его мнению, Манечка не выходила замуж потому, что у нее "не было потребности".

В те годы мы неожиданно сблизилась с дядей Давидом. Он приезжал не очень часто, но всегда так, чтобы застать меня. Мне стали любопытны его рассуждения о музыке. Он больше не старался мне подсказывать и очень хорошо слушал. Особенно нравились ему мелодичные, печальные вещи. Я помню, как однажды десять раз подряд играла ему восьмую прелюдию ес-

молл Баха, а он все просил повторить. У него подергивался подбородок и стояли слезы в глазах.

Это было в Судный день. В день, когда моя неверующая мама читала в синагоге поминальную молитву, записанную русскими буквами на листке бумаги, и оплакивала своих мертвых. Из синагоги она возвращалась вместе с дядей Давидом, и он оставался у нас до позднего вечера.

Прежде мне было странно то, что в праздник он уходит из дому, но со временем стало казаться, что в чем-то мы дяде Давиду ближе его собственной семьи. Наверно, это были общие мертвые. Ведь в Судный день тетя Геня, конечно же, вспоминала своего первого мужа и мальчика, похороненного в Сибири, а дядя Давид – мамину сестру, Эну, и двух девочек, зарытых в одной из четырех ям на братском кладбище в Хотинке. Эти воспоминания разъединяли их.

А я из года в год выслушивала его рассказы о дочерях. Особенно и рассказывать-то было нечего: когда началась война, старшей исполнилось шесть, а младшей – четыре.

– Ты понимаешь, – дядя Давид морщился от напряжения, – они были такие разные! Вот Манечка (Манечке нашей на долгие годы) – она была просто красавица! Люди на улице оглядывались и прямо шли за нами! Один ей конфетку дает, другой – пирожное, – она не берет. Боже упаси. Она смотрит на меня, что я скажу. Если я говорю: бери, Манечка, можно взять, тогда только она возьмет, понимаешь?

Он быстро вытирал слюну с нижней губы.

– А младшая, Риммочка, она не была такая красивая, но она была какой-то необыкновенный ребенок! Она меня так сильно любила! (Манечка наша – я так, к слову говорю – меня так никогда не любила). Когда я шел с работы, она за час садилась на окно и ждала меня! И я должен был к первой подойти к ней. А раз как-то я с кем-то заговорил с другим, и она потеряла сознание! Я не выдумываю, ты можешь у мамы спросить. Перед самой войной мы купили им белые шубки... Ты понимаешь, – кончал он, – уже прошло столько лет, а у меня не проходит досада. Конечно, война, люди погибают, не у меня одного так случилось, но я е м у не могу простить и никогда не прощу, что он на них пулю пожалел. Они были такие разные, а он пожалел на них кусок железа.

Я физически ощущала эту его непроходящую "досаду". И всегда удивлялась готовности, с которой он поднимался на мамин зов и садился за стол.

– Как вы думаете, – спрашивала мама, – первая звезда уже взошла?

– Конечно, – отвечал дядя Давид и, розовея от удовольствия, открывал поллитровую бутылку.

– За то, чтобы было тихо, – капля водки дрожала на дне маминого стаканчика. – Чтобы наши дети не знали то, что пришлось пережить нам...

– Умэйн! – кивал дядя Давид и степенно опрокидывал рюмку.

\*\*\*\*\*

Я помню, как однажды пошла его провожать и почти у трамвайной остановки вдруг вспомнила, что за весь день мы ни разу не заговорили о тете Гене. Мне стадо досадно, стыдно, и я поспешила спросить.

– А как тетя Геня?

– Что может быть у тети Гени? – слабо усмехнулся он и безнадежно махнул рукой...

\*\*\*\*\*

– Мамка у меня стала совсем как ребенок! – печально умилилась Манечка в свои хорошие минуты.

Когда у нее бывало обострение холецистита или шел песок из почек, она спрашивала:

– Ну скажи, почему она боится улицы? У нее диабет. У нее свищ, сердце, поджелудочная, гипертония... Но разве со всеми этими болячками люди не выходят из дому? Ведь она же по квартире – ходит... Тетя Роза – очень умная, – с сарказмом продолжала Манечка. – Она советует поменять квартиру на первый этаж. А обо мне они думают? Ведь в конце концов я останусь на первом этаже на всю жизнь!

В то время Манечка охотнее всего отводила душу по адресу тети Розы. Но однажды она прибежала ко мне бледная и дрожащая от возмущения, швырнула на диван сумку и прерывающимся голосом попросила:

– Пообещай мне, что никому не расскажешь!

– Ну конечно! А что случилось?

– Эти сволочи – Мишка и Зойка – решили уехать в Америку! Как тебе нравится?! Предатели, мерзавцы! Им тут птичьего молока не хватало! Дети записаны русскими! Чего им нужно? Капиталистами стать?! А я тут должна буду разрываться между двумя беспомощными старухами! Спасибо!

Мне нечего было ответить Манечке.

– Они бросают тетю Розу?

– Да. Она не хочет ехать. И ты сама подумай: разве можно на старости лет разлучить ее с мамой? Ведь у них никого больше нет! Ведь они, – Манечка с трудом говорила сквозь слезы, – поумирают сразу! Но и я взвалить ее на себя не могу. Я тоже хочу жить. Я ему сказала: "Если ты уедешь и бросишь ее – считай, что я ее тоже бросила!"

Через год они расстались – и никто не умер. Правда, тетю Розу пришлось обмануть: она была уверена, что Манечка тоже собирается в Америку, и как только тетя Геня почувствует себя лучше, они приедут.

Тетя Роза распродала свое имущество с горькими слезами. Вещи, на которые она когда-то копила деньги, за которыми стояла в очередях, которые ей доставали по знакомству, с переплатой – расходились по дешевке. Чужие люди бесцеремонно и брезгливо рассматривали ее сокровища, выискивая трещины и пятна. Если цена казалась тете Розе совсем несуразной, она гневно говорила:

– Чем отдать задаром кому-то, я лучше подарю это сестре. Мне есть кому это оставить!

И за несколько дней до отъезда она завезла тете Гене немецкий шкаф, ковер со сгнившим углом, телевизор, кусок чернобурки, рукав от котиковой шубы и еще много чего. И сверх того сто рублей на билеты в Америку. Эти деньги Манечку очень насмешили, однако она значительно потеплела к тетке. Подарила ей на память свои лучшие рюмки, а Мише обещала регулярно писать и создавать у тети Розы иллюзию, что они вот-вот встретятся.

– Ты подумай, – говорил мне дядя Давид, – какой дурой надо быть, чтобы поверить в такую чепуху, что Геня куда-то поедет. Да еще в Америку! Но если даже взять меня или Маню – зачем нам Америка? Квартира у нас есть. Пенсию я заслужил неплохую. Манечка учится в техникуме, слава богу, на хорошем счету. Что еще нужно?

Я иногда думала: не умышленно ли тетя Роза дает себя обмануть? Во всяком случае, прощание ее с тетей Геней было душераздирающим. Пришлось даже вызвать скорую помощь.

С Мишей попрощались холодно. На него, собственно, давно уже были обижены: он ни разу не навестил тетю Геню за последние несколько лет. Но, выехав за границу, Миша стал писать неожиданно теплые и частые письма. Он жаловался, что очень скучает, но на многочисленных фотографиях, маленьких и неправдоподобно ярких, Миша щурился на солнце, небрежно держал руки в карманах джинсового костюма и несколько свысока, по-иностранному взирал на родичей. Дети его и жена улыбались во весь рот, а чуть растерянная тетя Роза выглядела помолодевшей. Они стояли то на фоне моря, то под пальмами, то возле памятников. Жизнь их представлялась неправдоподобно яркой, как эти фотографии. И как-то так получилось, что о Мише говорить и вспоминать стали больше, чем прежде. Тетя Геня все еще осуждала его, но пафоса в ее возмущении становилось все меньше. Она хранила письма и фотографии в

старой черной сумке. Появился даже новый ритуал праздников. Теперь между горячим и сладким столом тетя Геня доставала сумку, гости разбирали письма и снимки, передавали их друг другу и обсуждали цены на мандарины и бананы.

Тем, кто не знал Мишу, тетя Геня объясняла, качая головой:

– Это мой племянник...

– А это?

– Это его жена...

– Какая красавица!

Тетя Геня брала фотографию и с удивлением подносила ее к самым очкам. Да. На итальянской фотографии Зоя выглядела красавицей.

– Уехали, понимаешь, – опасливо вставлял дядя Давид. – Чего им здесь не хватало? Люстры покупали по пятьсот рублей. Роза заработала сто девятнадцать рублей пенсию – и бросила все из-за них.

После чая Манечка показывала японский платок с люрексом, "стеклановую" кофточку и джинсы.

Джинсы на нее не налезали. Манечка попыталась похудеть, но в конце концов была вынуждена продать их соседке.

Из Америки письма стали прибывать реже. Тетя Геня предполагала, что Мише приходится туго, но правду он писать не хочет, чтобы не расстраивать ее.

– Зачем им надо было ехать? – ломала руки тетя Геня.

Она просила Мишу ничего не скрывать. На это Миша ответил, что такие руки, как у них с Зоей, "езде на вес золота", что просто они сейчас устраиваются и не имеют времени писать письма, но уже отправили хорошую посылку.

На фотографиях Миша с семейством жизнерадостно демонстрировал новенькую машину, холодильник выше человеческого роста, белое резное кресло и гору неведомых продуктов на столе.

А вскоре прибыла посылка. За ней еще одна, от тети Розы. В письме тетя Роза предупреждала, что Миша с Зоей не должны знать об этой посылке. "Я буду вам посылать чтоб вы продавали и чтоб скорее собрали деньги и смогли приехать сюда и жить всем вместе".

Манечка посмеивалась, но говорила, что не ожидала от тети Розы такой преданности и теперь обязана ей до конца жизни. Она высылала тете Розе очки, теплые трико, бандажи, рушники и матрешек.

В доме у тети Гени своим человеком стала Люба, дочка бабы Тони. Люба продавала прибывающие на Америки искусственные шубы и прочее барахло, честно взимая десять процентов с проданной вещи. Она никак не могла простить Манечке, что та "даром отдала" первые джинсы.

– Зачем ты так поспешила?! – сетовала она.

Все это не нравилось дяде Давиду. Он мрачнел, когда приходило очередное извещение.

– Оно мне нужно? – жаловался он маме. – Что нам, не хватало? Кому это надо – связь с границей? Сегодня – так, а завтра, понимаешь, по-другому...

Он боялся ходить на почту, боялся душистых шуб и японских платков, боялся растущей цифры на сберкнижке. И больше всего – Любиных визитов. Он считал, что Люба – спекулянтка и что милиция следует за ней по пятам. А Люба, как назло, сидела подолгу, пила чай с диабетическими конфетами и рассказывала новости с Фроловского спуска.

Полька, оказывается, снова вышла замуж. На этот раз, всем на удивление, за деревенского паренька. Мать не разрешала ему жениться на Польке, но на свадьбе Полька так плясала гопак, так пела "Ой ты хмэлю мий, хмэлю", так запросто и ласково держалась, что покорила все село.

– Оцэ нэвисточка! – шелест восхищения сопровождал Польку, белоснежную городскую невесту.

Среди этого триумфа Анюта сидела как в воду опущенная, и мрачные предчувствия ее сбылись. Полька любила своего нового мужа и не хотела с ним расставаться. А у мужа

кончилась отсрочка, его должны были призвать в армию. Кто-то дал Польке рецепт мази, от которой на его теле появилось что-то вроде экземы.

– А теперь, – кончила Люба, – он был бы радый в армию пойти. Эту заразу никто ему не может вылечить.

Когда Люба ушла, дядя Давид разошелся до крика.

– Вы доиграетесь! – пророчил он. – Вы доведете, что за эти разговоры и посылки меня посадят! Хватит! Мне ничего не нужно! Мне и так хорошо.

– Ах, тебе хорошо! – взбесилась Манечка. – На моей шее сидеть тебе хорошо!

\*\*\*\*\*

– Ну скажи, разве это не так? всю жизнь они мне испортили!

В то время Манечка была не в духе. Полтора года назад она кончила свой техникум, но в техотделе ей сказали, что место еще не освободилось. Манечка ждала. Когда место освободилось, на него взяли другого человека. Так повторялось несколько раз, пока Манечка не решилась поговорить прямо. Тогда ей прямо ответили, что как слесарь она представляет для завода большую ценность.

– Вот почитай. – Манечка протянула мне узенький конверт. Миша звал Манечку к себе. "Если мама не может ехать, приезжай сама. Они уже прожили жизнь и не должны думать только о себе, а о твоём будущем. Здесь есть для тебя хороший парень. Тетю Геню бы здесь поставили на ноги, здесь очень хорошая медицина..."

Наверно, у меня было испуганное лицо.

– Да что ты? – рассмеялась Манечка. – Как я могу ее бросить?! Ведь это все равно, что бросить на улице беспомощное дитя! В конце концов, – продолжала она, – мне и здесь неплохо. Валька обещала поговорить со своим начальником: в сентябре у них освобождается место. Тетя Роза мне очень помогает. Знаешь, все думают, что мы такие бедненькие, а у меня уже почти две тысячи на книжке!

Вскоре я узнала, что Манечка учится на водительских курсах. Это был недвусмысленный признак. Манечка сказала, что пошла туда на всякий случай.

На всякий случай она купила кухонный комбайн, два электросамовара и пятьдесят матрешек. Когда Манечка стала понемножку продавать свои пожитки, никто уже не удивился.

– Мишенька пишет, что если у Манечки будут водительские права, он сразу подарит ей машину, – рассказывала тетя Геня. И тяжело вздыхала. – В Америке никак нельзя без машины!

Дядя Давид ни с кем и словом не обмолвился о приближавшихся событиях. Он вроде как-то осел, в выражении его губ появилась странная расслабленность, взгляд ускользал от собеседника. Манечка уломала его сшить себе к поездке демисезонное пальто, но работа продвигалась медленно. Дядя Давид стал себя неважно чувствовать, его мучили запоры. Никто не относился к этому серьезно. Но однажды к нему пришлось вызвать скорую помощь. Впервые в жизни. Его увезли в больницу с диагнозом: непроходимость кишечника. Через пару дней врачи объявили, что необходима операция. Но тетя Геня попросила операцию отсрочить. Былое вдохновение вернулось к ней. Она послала Манечку на базар за травами, лихорадочно перевернула все хранившиеся в доме коробки с лекарствами, что-то толкла, варила, запаривала... И ее слабительное подействовало на дядю Давида. В больнице у тети Гени попросили рецепт. Она с трудом и приблизительно вспоминала, из чего составила смесь. Медикам рецепт показался несуразным...

После болезни дядя Давид очень изменился. Похоже было, что он побаивается сам себя. Я пришла навестить его, он очень рассеянно со мной говорил. Я подумала, что утомляю его, и поспешила уйти, но и это было ему безразлично. Ему все было безразлично.

Вскоре он снова попал в больницу. На этот раз с воспалением легких. Манечка доставала лекарства и платила няням, но дяде Давиду становилось все хуже. Манечка, ее подруги, моя мама по очереди дежурили у его постели, но в последнюю ночь он остался один. В ту ночь

тете Гене стало плохо, и Манечка не могла от нее уйти. А мама сидела со мной: у меня начался тяжелый грипп, и температура поднялась до сорока.

Вскрытие показало, что легкие у дяди Давида были в порядке. А умер он от инфаркта. Толстый прозектор в морге недоумевал:

– У него весь организм был здоровый. Я первый раз вижу, чтобы в таком возрасте был такой крепкий организм. Но сердце! Что у него было с сердцем? Когда он перенес инфаркт? Загадка. Оно, знаете, совсем усохшее, как пустой мешочек.

Прозектор даже хотел показать это усохшее сердце.

Люди, которым Манечка решила оставить деньги на памятник, уговорили ее кремировать тело. На похоронах она сорила деньгами. Музыканты, неожиданно получившие прибавку к условленному гонорару, так старались, что Манечке пришлось просить их играть потише.

Пятьдесят рублей она заплатила парням, которые снесли с четвертого этажа тетю Геню. Боялись, как бы с ней не случился припадок. Но она не кричала, не бесновалась. Сухими, круглыми глазами смотрела на мужа, потом тихо позвала:

– Дави-и-ид! Разве я могла думать, что переживу тебя, Давид...

На кладбище ее не повезли.

Новый обряд казался в то время странным. Люди чувствовали себя неуверенно. Сотрудница ритуальной службы говорила в микрофон о том, что близкие провожают дядю Давида в последний путь, но он навсегда останется в их сердцах... Ей явно не хватало для речи сведений, полученных от Мишиного тестя, и она их домысливала. Она говорила о том, что дядя Давид всю жизнь работал, не покладая рук. Что он был честным и скромным тружеником, настоящим мастером своего дела. Что труд его приносил людям много радости...

На следующий день Манечка сожгла все вещи отца, в том числе и недошитое пальто. Она развела костер на площадке за мусорником. Соседям, пытавшимся вразумить ее, Манечка отвечала:

– Папа сгорел – так пусть и это все горит!

\*\*\*\*\*

– Я никогда не думала, что буду так за ним скучать, – как-то сказала мне Манечка.

Встречались мы редко и без особых эмоций. Она забегала мимоходом, бледная, измученная хождением по инстанциям и магазинам, просила кипяченой воды запить таблетки, насколько минут сидела, откинувшись на диване и, на дождаввшись, пока утихнет головная боль, поднимала свои сумки и пакеты. Отчаянно, через силу...

Иногда она звонила от нас по телефону своим новым знакомым, и тогда я особенно ясно понимала, что почти перестала существовать для Манечки: я осталась где-то далеко в прошлом, а у них было общее будущее.

Манечка говорила, что это очень интеллигентные люди. Их телефонные разговоры не оставляли такого впечатления. Хотя что можно понять, например, из разговора об отправке контейнера?

– Эта женщина, – Манечка зажимала ладонью микрофон, – знает девять языков! Она... Да-да, я слушаю... Нет. Ни в коем случае! Сорок рублей сверх за такую ерунду!.. Фотоаппарат? Ой, я бы с удовольствием вам помогла, но у меня самой два. Я боюсь, что один не пропустят. Я вам дам телефон одних людей, у них не хватает на билеты. Может, вы договоритесь с ними, чтобы они вывезли фотоаппарат и ковер, еще что-нибудь... Да, я диктую...

У самой Манечки оказались даже лишние деньги. И совсем неожиданно. Она хотела оставить на память какой-нибудь из инструментов дяди Давида, но не получила разрешения на вывоз.

– Им жалко выпустить это никому не нужное, поломанное старье, – возмущалась Манечка.

Однако она не поленилась сходить в комиссионный магазин. И тут выяснилось, что инструменты, тридцать лет пылившиеся на шкафах, были ценные и в хорошем состоянии.

Только за скрипку, на которую дядя Давид так и не удосужился натянуть струны, дали 800 рублей...

Вообще Манечка продавала удачно. Она видела в этом свою заслугу, но, по-моему, тут действовала благодать тети Гени. Тетя Геня исходила нежностью, в последний раз натирая содой свой холодильник, она ласкала полиролями мебель...

– Деточка! – говорила она покупателю. – Я ни-ко-гда не стала бы продавать этот буфет...

И покупатель видел, как обливается кровью ее сердце, и жалел тетю Геню.

– У меня ни одна мелочь не пропадает! – хвалилась Манечка. – Я из всего сделаю деньги! Я даже не думала, что во мне есть такая коммерческая хватка!

Старое, облупленное зеркало она свезла в мастерскую, заплатила пятерку за ремонт и продала за двенадцать рублей. Оставленные тетей Розой кусочки меха отнесла к шляпнице. Шляпница уверяла, что они не стоят возни, но Манечка настояла на своем и заплатила за работу сорок рублей. На котиковой шляпе она заработала рубль, на чернобурковой – двадцать.

Манечка всю репетировала капитализм. Она освоила новый взгляд – быстрый, с цепким прищуром.

– Я сама подняла все эту махину! – Манечка имела в виду сборы, оформление документов, походы в ОВИР.

Она жила, наконец, в полную силу. И каждый, кто вот так же, как она, решился круто изменить свою жизнь, казался ей человеком отважным и стоящим.

– Вот скажи, – спрашивала она презрительно, но беззлобно, – ты смогла бы?

Мне захотелось проверить Манечку, и я солгала:

– Может быть, и да...

Лицо ее мгновенно открылось мне и потеплело. Она сжала мою руку:

– Может, и в самом деле?! Подумай! А?

– Это все сложно, – смутилась я. – Мне слишком дорого то, что пришлось бы оставить...

Она снова отдалилась и вдруг сказала (она, видно, давно уже искала случай это сказать):

– Я знаю, что мы с тобой стали чужими людьми. Между нами нет ничего общего, кроме каких-то детских воспоминаний.

Это была правда. Но разве они мало значили, детские воспоминания?

Конечно, даже тетю Геню я любила не нынешнюю, беспомощную и немного капризную, а ту, что ходила вверх и вниз по Фроловскому спуску, скорбно сжав губы и безропотно глядя перед собой добрыми круглыми глазами. Но разве можно любить сильнее?

\*\*\*\*\*

Я ехала прощаться с тетей Геней и Манечкой. День был пасмурный и туманный. Плыли вдоль дороги серые квадратные дома. Я думала о том, что, может быть, больше никогда не увижу эти унылые места... Никогда больше не поднимусь по этой лестнице.

Дверь в квартиру была открыта. По шуму, доносившемуся из комнаты, я поняла, что "скорая", стоявшая во дворе, приехала к тете Гене.

– Она упала прямо в дверях, – говорила соседка Анна Борисовна. – Я так испугалась, стала брызгать на нее воду...

– Ми-лая, – простонала тетя Геня, – сделайте что-нибудь. Сейчас вернется моя дочка – не надо, чтобы она узнала...

– Ну что же делать? – услышала я расстроенный женский голос. – Вам не то что ехать за границу – вам с постели вставать нельзя! Как вы вообще решились на такое в вашем состоянии?

– Что же мне было делать, милая? – ответила тетя Геня. – Мы с дочкой остались совсем одни. А там у меня сестра с сыном. Они зовут ее. Она не хочет меня бросить. Так что же ей, ждать, пока я умру? Ведь время-то уходит... Что же мне, руки на себя наложить? Так пусть я



умру где-то по дороге. Я столько лет обуза на ее шее... Когда-то я делала для нее, что могла, больше, чем могла. А теперь я могу сделать для нее только одно: дать ей уехать...

Я решилась войти.

– Это ваша дочь? – спросила высокая, светлая женщина-врач.

– Это моя племянница! – обрадовалась тетя Геня. – Она со мной посидит. Не волнуйтесь, милая, поезжайте. Спасибо вам за все.

Я осталась с тетей Геней одна. В углу пустой холодной комнаты громоздились чемоданы и набитые авоськи. В одной из авосек лежали три кочана капусты. Еще один, растерзанный, лежал на окне. Тетя Геня встала с раскладушки, оторвала несколько листьев и приложила их к сердцу и к печени.

– Это мое спасение, – покачала она головой.

Потом пригладила мокрые волосы, накинула кофту.

– Вот так...

Я знала, что сейчас скажет тетя Геня, и поспешила ее перебить:

– Я к вам приеду, тетя Геня! На гастроли!

Она как будто оживилась. Стала угощать конфетами и показала роскошную черную бурку, на живую нитку приметанную к ее черному пальто.

– Этот воротник, – она захлебнулась от тихого смеха, – торчит выше моей головы и достает мне ниже живота! Я бы показала тебе, но у меня нет сил. На меня еще фотоаппарат оденут! Ты можешь себе представить! Да! – вспомнила она. – Тут у меня остались разные мелочи. Манечка хочет их выбросить, а я подумала: ты такая рукодельница, может, тебе пригодится.

Она достала мешочек из розового штапеля. В нем лежали обрезки меха и длинные разноцветные полоски крепдешина.

\*\*\*\*\*

Через два года я получила письмо от Манечки. "Я не писала тебе потому, что нечего было писать. И сейчас тоже нечего. Я сейчас временно не работаю. Мама болеет. У нее стало плохо со зрением. Она получает пенсию. Ее пенсии и моего пособия хватает на жизнь. Так что я не должна смотреть в руки родственникам. Наши здесь быстро становятся такими же жмотами, как все американцы. Я мечтала, конечно, не об этом и не для этого положила столько сил. Но мне и жалеть тоже не о чем. Мы часто вспоминаем тебя. Что бы ни было между нами, я знаю, что ты всегда желаешь мне добра. И еще я часто вспоминаю "горку". Вот куда бы я вернулась! Люба пишет, что их всех уже отселили оттуда. Я обязана Любе на всю жизнь. Она ходит к папе на могилу и даже посадила там цветы. Я выслала ей маленькую посылку. Когда стану на ноги, постараюсь ее отблагодарить..."

Мне стало стыдно от того, что Люба, чужая женщина, ухаживает за могилой дяди Давида, а я за два года ни разу не выбралась на кладбище. Я решила, что как-нибудь схожу, потом рассердилась на себя, оделась и поехала на базар за цветами.

В том году очень рано началась осень. Была только середина августа, а солнце, ясное и нежное, уже не прогревало тени. Дорога к кладбищу крематория шла круто вверх между высокими деревьями и старыми гранитными памятниками, настойчиво и властно останавливающими на каждом шагу. Меня знобило от сырости. Я пошла быстрее и скоро очутилась на широкой солнечной вершине холма. Я замерла, прислушиваясь к теплу. Здесь было совсем мало могил – вернее, черных одинаковых кубиков с краткими надписями: имя и год. Я вздрогнула, когда прочла имя дяди Давида. Надпись была аккуратно наведена белой краской, но цветов здесь явно никто не сажал. Я воткнула букет прямо в землю, и рядом с пылающими на солнце красными гладиолусами черный кубик показался еще меньше. Это была скупая памятка, не имеющая ничего общего с курчавой шевелюрой дяди Давида, с его дырявым баяном, с его непроходящей досадой...

А что еще следовало написать на этом камне? Что из дяди Давида мог получиться большой музыкант? Кто знает... Может, и нет. А может, он и был великим музыкантом? Кто знает, какая музыка спотыкалась о его неученую голову и неловкие пальцы...

Я вспомнила, как он слушал восьмую прелюдию. Я давно не играла ее, но она вдруг возникла, ясно, без единой фальшивой ноты, сливаясь с широким движением зеленых холмов, на которых со временем пролягут новые цепочки черных камней. В этой музыке, в низкой стриженной траве, в тонких молодых рябинах было что-то примиряющее.

Я возвращалась домой. Трамвай дребезжал и звенел на поворотах, но и эти звуки странно совпадали с мелодией, звучащей во мне, с ее неумолимо-грустной поступью.

Я не вышла на своей остановке. Я сидела у окна и удивлялась, что не собралась до сих пор "на край света". У меня перехватывало дыхание от мысли, что сейчас, сейчас я увижу млеющие на солнце "горы", желтые лестницы, деревья, с сонным усилием вытягивающие из земли коричневые корни.

На том месте, где сидела когда-то растрепанная старуха, был разбит сквер. Ниже торчали из земли высокие бетонные сваи. Не было ни одного из кривых закопченных домиков с их резными наличниками и зарослями столетника за пыльным стеклом, дырявыми мисками и жирными котами. Здесь все крушили и строили заново.

– Фроловский спуск, – протрещал микрофон. – Следующая остановка – Житный рынок.

Сначала я подумала, что снесли Фроловскую церковь, но она оказалась на месте, нескладная, опрятно окрашенная, придавленная и скрытая от улицы стеклянной громадой Дома быта. Вся правая сторона Фроловского спуска была огорожена глухим забором. За забором тархтел трактор. Я заглянула в щель и увидела ровную земляную площадку. Я всматривалась и не могла сообразить, где же здесь была моя волшебная гора.

– Здравствуйте, – услышала я мужской голос. – Я увидел вас тут и осмелился подойти. – Светловолосый парень пятнами краснел от смущения. – Вы, конечно, не помните меня. Я – Сережа, сосед вашей тети Гени. Наша дверь была как раз напротив.

– Ну конечно, помню, Сережа. То есть, я не узнала бы вас. Прошло столько лет... Удивительно, что вы меня узнали.

– Вы не изменились, – он снова покраснел. – И... я вас часто видел, когда вы учились в консерватории. Даже слушал один раз. Я работаю напротив консерватории. Знаете, архитектурное управление. А здесь я случайно оказался. Сдал магнитофон чинить.

– А я вот выбралась посмотреть на горку.

– Да. Тут еще год назад начали сносить. Вроде и условия были скверные. Дали людям нормальные квартиры. А все жалеют...

– Вы что, встречаетесь со старыми соседями?

– Смотря с кем, – улыбнулся он. – Вас интересует, конечно, Поля?

– Да...

– Так я и знал. Вот ведь плохой, никчемный человек, а когда встречаемся с кем-то, только о ней и говорим! Поля... Да дрянь она, Поля, больше ничего. Она неплохо жила со своим последним мужем. Славный был паренек. Но у него появилось какое-то кожное заболевание, и она его бросила в конце концов. Может, оно и лучше для него. Жаль только тетю Анюту. Помните, какая она была красавица? Так больно на нее смотреть. Она стала совсем седая и... почти лысая... И без зубов. Как глубокая старуха. Я никак не уговорю ее поставить протезы.

– Вы бываете у нее?

– Да нет. Она рядом со мной работает. Талончики продает на театральной площади. Вы, наверно, видели ее сто раз. Просто ее узнать невозможно.